

Моск. новости —
с. 16.

Последний поклон

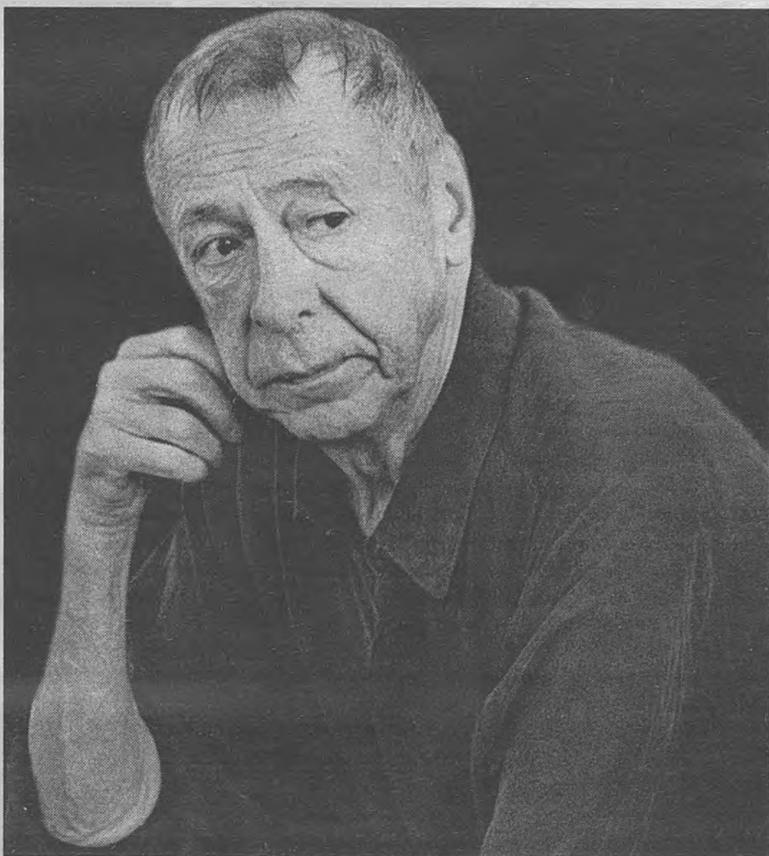
Скончался
Олег Ефремов

Я возвращался из Щельково ночным поездом. Спать не хотелось, достал блокнот, стал помечать предстоящие в Москве дела. Вторым пунктом записал: «Позвонить Олегу». Девятого мая я был у него, мы говорили о моей новой пьесе, которую он предполагал поставить в следующем сезоне. Он высказал одно пожелание, требующее серьезных изменений в тексте, мы условились, что в Щельково, куда я должен был уехать через несколько дней, я подумаю над его предложением и по возвращении сразу дам ему знать. Теперь под стук колес я обдумывал, как лучше ему объяснить, почему я все-таки с ним не согласен. Я не знал, что он уже лежит в морге Боткинской больницы. Я узнал об этом на перроне Ярославского вокзала: «Плохие новости, папа, — умер Ефремов». У меня потемнело в глазах — было пять часов утра, народ пер из вагонов, как из тюрьмы, я едва удержался на ногах.

Последние двадцать пять лет Ефремов дарил мне свою дружбу, которой я, может быть, и не заслуживал. Он поставил на сцене МХАТа, одну за другой, семь моих пьес, почти каждая встречала неприятие начальства и горячий прием зрителей, в двух спектаклях он замечательно играл главные роли. Из людей, которых я близко знал в течение многих лет, с которыми сталкивался в непростых житейских, творческих, политических ситуациях, Олег Ефремов, без сомнения, был самым талантливым, самым честным, самым смелым, самым надежным и последовательным. Не было другого человека, который бы привнес в мою жизнь столько радости, новых чувств, уверенности в своих силах. До конца дней я буду благодарить судьбу за эту удачу моей жизни.

Завтра я увижу его мертвым, застывшим в гробу, в котором его повезут на Новодевичье. А я помню, какой он был живой и красивый, когда мы первый раз встретились у него дома, еще в прежней квартире на Гоголевском бульваре. Никто не выслушивал собеседника с такой полнотой внимания, с такой самоотдачей внимания, как Олег Ефремов. Когда он с тобой беседовал, для него не существовало никого на свете, кроме тебя. Такой сосредоточенности интереса к другому человеку я больше ни у кого не встречал. Иногда казалось, что это неправда, что это игра. Но я мог десятки раз наблюдать проявления ефремовской внимательности в самых разных ситуациях, по отношению к самым разным людям — я убедился: это была не игра. Это было его природное свойство. Но зато — надо и об этом сказать — если он человека презирал, а презирал он тех, кого было за что презирать, его глаза источали такую степень неприятия, невнимания, незаинтересованности, что человек от одного его взгляда — мне довелось это видеть — буквально вздрагивал, съеживался, покрывался бледностью.

Его выдающийся талант артиста и человека, неотразимость обаяния личности проистекали из этой необыкновенной силы внимания. Внимательность Ефремова обладала чудесным качеством — она согревала душу, освобождала тебя во время разговора с ним от какой бы то ни было внутренней осторожности, неловкости, скованности, располагала к полной откровенности. Если бы Ефремов был священнослужителем, к нему исповедоваться приходили бы самые стесняющиеся, самые закрытые, запутавшиеся в жизни люди.



НИКОЛАЙ САМОЙЛОВ

Ему невозможно было не доверять, от него невозможно было ждать удара в спину, предательства, злой, беспощадной насмешки. Глаза его не разоблачали, не раздевали, хотя видели насквозь. Он был внимателен не против тебя — за тебя. Его внимание встряхивало, собирало твои внутренние силы, лучшие стороны твоей натуры.

Чуткость была его орудием постижения действительности, истоком его пронзительности, прозорливости. Все, кто близко знал Ефремова, отдавали себе отчет в том, что имеют дело с необыкновенно умным человеком. Но это был не теоретический ум, он выражался не в мудреных формулировках и афоризмах, он обладал мудростью практического понимания того, что происходит в обществе, того, что может или не может произойти в обозримом будущем. Благодаря своей гениальной внимательности он проникал в самую сердцевину общественных противоречий, его гражданственность зиждилась не на абстрактных идеях служения народу, а на

конкретных впечатлениях от собственных наблюдений и переживаний. Например, он был совершенно уверен, не раз об этом говорил, что в нашей стране демократические перемены могут начаться только сверху, только по инициативе наиболее

грамотных и порядочных людей в руководстве КПСС, и никак не иначе. Поэтому он считал необходимым средствами искусства, театра оказывать нравственное влияние на политическую элиту страны. Он хорошо знал эту среду, различал в ней немало людей светлых, искренне озабоченных судьбой Отечества. У некоторых противников тоталитарного режима такая позиция, мягко говоря, вызывала большие сомнения, Ефремову приходилось выслушивать едкие замечания на этот счет. Мол, всякая попытка делить коммунистов на хороших и плохих, а тем более возлагать серьезные надежды на «лучших» есть сознательное предательство или крайняя степень глупости. Считалось, что от любых коммунистов, от всех коммунистов без исключения не следует ждать ничего другого, кроме новых репрессий и усиления цензуры. Однако жизнь вскоре полностью подтвердила оправданность надежд Ефремова. А когда выяснилось, что Михаил Горбачев в свое время выстаивал длинные очереди за билетами в театр «Современ-

ник», правота Ефремова получила, я бы сказал, даже чрезмерно наглядное подтверждение.

Своим спокойным, внимательным умом Ефремов понимал Россию вполне адекватно, не по Тютчеву. После трагического октября девяносто третьего он очень точно оценил новые реалии и новые задачи интеллигенции. Его соображения того времени, которые и сегодня звучат достаточно актуально, я бы сформулировал так: мы долгое время боролись за свободу культуры, теперь надо бороться за культуру свободы.

Когда мы виделись последний раз, девятого мая, сначала на торжественном приеме в Кремле, и после приема, у него дома, мы говорили о болезнях, о сыновьях, о планах на лето, о спектаклях последнего времени, но больше и дольше всего — о новом президенте. Приведу некоторые его мысли, как я их запомнил. Ефремов заметил, что если Путин действительно одинаково уважает и Дзержинского, и Сахарова, и это все искренне, от всей души, тогда это тот президент, который сегодня нужен. Ему удастся сочетать, совмещать то, что кажется несочетаемым и несовместимым. Он говорил, что это касается и Чечни. Глупо кричать: никаких переговоров с Масхадовым! Переговоры могут быть с кем угодно, если они способны привести к миру. Эта война, возможно, и началась из-за того, что Ельцин отказался разговаривать с Дудаевым. Он сказал, и эту фразу я запомнил в точности: «Между людьми все возможно, даже самое невозможное».

Ему становилось все труднее говорить. Режим его болезни отличался коварством: с утра чувствовал себя лучше, к вечеру начинал задыхаться.

Он жил один в просторной квартире на Тверской. Перед уходом попросил меня перенести телефонный аппарат из кухни в комнату, где он находился. Я спросил, не надо ли чего еще, предложил остаться у него на ночь. Он категорически запротестовал — не надо, ничего не надо, все в порядке. Я поцеловал его и ушел. Ушел спокойно, близкой опасности я не ощутил. Вселяло надежду то обстоятельство, что его отец, Николай Иванович, с которым я был знаком, прожил долгую жизнь, за девяносто. Это успокаивало, казалось, что и Олег преодолеет, пересилит свой недуг, поправится. Он и сам в это верил.

Завтра я его увижу таким, каким он никогда не был и никогда не будет, — мертвым. Я не знаю в России другого артиста, которому бы до такой степени не подходила эта роль...

Александр ГЕЛЬМАН